

1984

Желтые автобусы. Красные трамваи.
Синие троллейбусы. Серые дома.
Много разных тряпочек к ноябрю и маю.
В Новый Год на блюдечках сыр и пасторма.

Виктор Жлуктов с шайбою. Штирлиц в телевизоре.
Marlboro армянское. Позже — Cabinet.
Гости у родителей поминали Визбора.
Дядя Слава пьяненький изломал буфет.

Брат пришел у Серого. Что-то про афганскую...
Я запомнил умное слово «царандой».
Лавки полосатые. Песни арестантские.
Мишки олимпийские. Папа молодой.

Про ожидание

Детство в самом уголку экрана —
Всё мельчает времени в плену.
Приходили молодые ветераны,
Вдохновенно ввали про войну.

Пели ветераны, шли на горку —
Кладбища, они ведь на горах —
Пили ветераны что-то горькое,
Главный говорил про горький прах.

Мёртвые лежали и лежали:
Всё равно два раза не убьют.
Лысые салют изображали,
Потому что холостыми не салют.

А ещё любимым девятым мая
Всякий раз, хотя б с утра и зной,
Прилетала сумрачная стая,
Начинался дождик проливной.

И кропил, кропил от Иоанна
Робких под созвездием Звезды:
Мёртвых, молодых и ветеранов —
Чающих движения воды.

К дождю

Пахнет невкусным обедом и красными грушами
(потому что на этом закате всё красное).
Чайки летают над бывшим городом Тушино,
падают к смутной воде и у воды становятся разными.

Человек на соседней скамейке роняет стакан.
Другой человек односложно его ругает.
Волк привыкает к железу и попадает в капкан,
а человек вообще ко всему привыкает.

А «человек вообще» — это такое неясное,
очень смешное и, в сущности, непоправимое.
Листья ракиты свисают пологие, красные.
Капли с них падают краткие, неуловимые.

О теньях

Где речка Сестра уходит от города Клина,
но откуда ещё видна надломленная золотая игла,
тихо и медленно, будто цветёт малина,
летит пчела.

Одинокая между громко летающих пчёл,
между шипящей листвы.
Всё, что я для чего-то и просто так прочёл,
немножко касалось полёта этой пчелы.

Немножко казалось, что даже плохие стихи,
даже стихи с прилагательным «злой»,
даже те, что ещё чуть хуже и те, что совсем плохи,
оправданы этой продолговатой пчелой.

Самое интересное то, к чему осторожно:
вот неожиданно белая липа, тонкая, как весло.
Липа, пчела, оружие. Прочее — невозможно.
Холодно, светло, холодно. Холодно, светло.

Об успокоении

На Бауманской улице очень шумно.
Ещё и друзья ругаются, все трое.
Между собой ругаются, на тебя ругаются,
на погоду ругаются, так бывает.
Потому что дружно опаздываем.
И настроение совсем никуда.
Успеть кажется важным.

Тут мимо проезжает машина с обёрнутой надписью:
«Реанимация».
А на борту уточнение: «Детская».

И всё.

Хотя не на вызов и без мигалки.
Но да: всё.

Похожее бывает, когда
весьма немолодая учительница,
которую ты несколько десятилетий назад
знал уже пожилой, рассматривает
в социальной сети
фотографии ребят из своего первого выпуска,
вздыхая:
«Как же они постарели!»

Или ещё когда гуси, все шестеро, улетаая на север
(это важно: на север, в тундры, а не обратно),
садятся чуть отдохнуть в круглом озере,
а затем шумно и разом взлетают,
оставляя долгую рябь.

Затем эта рябь утихает.
Вот этот: самый момент утишения, и...

Контакт

- Где ты там в серой беззвучной своей тиши?
- Здесь я: в серой беззвучной своей тиши.

- Там у тебя сырость, прохлада и камыши?
- Есть у меня также сырость, прохлада и камыши.

- Там у тебя сыро и правда холодновато?
- Тут у меня сера, сера и серая вата.

- Там у тебя каждый год будто множество лет?
- Тут у меня каждый год в красный халат одет.

- Там у тебя, как у нас? Любовь, ерунда, еда?
- Ястребом на меня каждая ваша беда.

- Ты там сидишь иногда или всё время стоишь?
- Сам ты стоишь. С зеркалом говоришь.

На первой базе

I.

Положил бейсболку в кресло.

На бейсболке спит собака.

Престарелая собака доброй марки спаниэль.

Несобачье вроде место, неживотное, однако
пожилому организму — где укрыли, там постель.

Кресло может обозлиться, а бейсболка как лукошко.
Как хозяйский толстый зонтик.

Или фляжка «Вечный зов».

Время длится от прихожей и собака, точно кошка,
спит одиннадцать, тринадцать

и четырнадцать часов.

На бейсболке буквы Yankees: это сильная команда.
В ней играет чёрный пинчер с аккуратной бородой.
Yankees лучше, чем Динамо, и сильнее коменданта
из нечастой песни Янки про плохого зверя ДО.

Спит собака на бейсболке — добровольная креветка
на сложившейся кастрюльке — так бывает иногда.
Красный луч, отменно долгий, отражает табуретка.
Отражает как подачу, отражает навсегда.

Примитивная собака в примитивную эпоху,
не познавшую бейсбола, позабывшую лапту,
хочет плакать, стонет плохо,
(шутл., пренебр., прост.: «дурёха»)
тянет выдох против вдоха
точно Боинг против ТУ.

А часики в зеркало тикают,
как сверчки медведкам пиликают:
— *Rainman — Ray-Ban*; — *Rainman — Ray-Ban*;
— *Rainman — Ray-Ban*.

Вроде обещают великое, а получится ерунда.
А на часиках циферки прыгают —
непреложные, как всегда.

II.

Да.

Жалко

Вещи семидесятих годов рождались старыми.
Влекли, как умели.

Человеки ходили с плохими гитарами,
плохо плохое пели. Вкусно плохое ели.

Старые вещи старели, люди смотрели.
Хлопали коврики.
Дети людей очевидно выросли.
Не скучно, но вовремя.

Сначала у всех уходил дед-мороз,
затем, по факту весны —
неполная гибель несильно всерьёз.
И тонкие сны.

Дети любили плохое мороженое.
Слушали в «радиве» песенки про перекаты.
Очень хотели быть сильно хорошими.
В смысле богатыми.
Потом оказались неодинаковыми,
а дальше опять одинаковыми,
как из программы «Джемини».
Пожилые многоумные крохи.
Странного роду лемминги.
Обломки золотистой эпохи.
Сушествительные прошедшего времени.

Ветряные театры

Там, где бесчинная свалка,
где тонкий дымок над свалкою,
струнный оркестрик жалкий
странно играет жалкое.

Это переложение — пьеса для ниток и ветра,
пьеса для ветра и велосипедных рам.

Пьеса для маленькой свалки

в тридцать квадратных метров,
пьеса для воробьиных и галочьих мелодрам.

Музыка не удаётся, толстая плёнка морщится;
Морщится толстая плёнка на сломках бетонных плит.
Вдоль по бетонным плитам проволока волочится.
Проволока играет, проволока звенит.

Звенит, потому что Пасха, а значит у каждого Пасха:
у каждой смешной сороки, у каждого муравья,
у каждой брошенной куртки,
у каждой засохшей краски
тоже, наверное, Пасха, только совсем своя.

Своя особая Пасха, Пасха для нелюбимых,
Пасха тщедушных, порочных,
битых по нашим грехам.
То, что колеблемо ветром, то, что поколебимо,
порушено и непрочно, то подлежит стихам.

Тщета

А что такое мемуары?
да так — фигуры.
Неторопливые кошмары
кристальной дуры.

Многозначительных котов
хоронят мыши.

— Глянь, диктофон готов?
— Готов.
— Ну, пишем.

Вроде ещё разбег,
а вроде уже ползём:
вот это ещё человек,
а это уже чернозём.

А это опять человек
только совсем другой.
Вроде закончился век,
вроде продолжился бой.

Вроде такая дрянь,
что вообще никуда.
А вроде цветёт герань
и в лужу летит звезда.